ЕЩЕ О ТОЛСТОМ [118]

Л. И. Аксельрод в своей, к сожалению слишком мало известной русским читателям, книге „Tolstois Weltanschauung und ihre Entwickelung“ (Stuttgart, 1902),[119] говорит (стр. 13—15), что уже в самых первых произведениях Л. Н. Толстого высказаны многие из составных частей того учения, которое он проповедывал, вызывая так много толков, в последний период своей литературной деятельности. И это совершенно справедливо. Тому, кто усомнился бы в этом, я укажу на один из примеров, приводимых самой Л. И. Аксельрод. Лицо, от имени которого ведется рассказ в знаменитом ряде очерков: — „Детство, Отрочество, Юность“ [120], говорит о себе: „Раз мне пришла мысль, что счастье не зависит от внешних причин, а от нашего отношения к ним, что человек, привыкший переносить страдания, не может быть несчастлив, — и, чтобы приучить себя к труду, я, несмотря на страшную боль, держал по пяти минут в вытянутых руках лексиконы Татищева или уходил в чулан и веревкой стегал себя по

голой спине так больно, что слезы невольно выступали на глазах“ (стр. 183).

Можно сказать, нимало не опасаясь преувеличения, что здесь мы встречаемся с той самой мыслью, которая руководила гр. Толстым в течение последнего периода его литературной деятельности, того периода, когда он сделался „учителем жизни“. Правда, в течение этого периода он никому не рекомендовал держать в вытянутых руках лексиконы Татищева или стегать себя веревкой по голой спине. Но вся его проповедь опиралась на противопоставление „духа“ „телу“, „вечного“ „временному“. А это противопоставление неизбежно ведет к тому выводу, что счастье человека „не зависит от внешних причин“, всегда имеющих разумеется лишь „временный характер“, и Толстой не только не боится этого вывода, но с непоколебимым убеждением повторяет его, особенно там, где им оттеняется противоположность его учения учению социалистов. Социалисты утверждают, что счастье общественного человека зависит от „внешней причины“, называемой общественным строем. Поэтому они ставят своей „конечной целью“ определенное преобразование этого строя. Гр. Толстому очень не хотелось, чтобы люди этого направления приобрели влияние на рабочий класс. И вот он пишет брошюру „К рабочему народу“ [121], где говорится: „Нет ничего вреднее для людей той мысли что причины бедственности их положения не в них самих, а во внешних условиях. Стоит только человеку или обществу людей вообразить, что испытываемое им зло происходит от внешних условий, и направить свое внимание и силы на изменение этих внешних условий, и зло будет только увеличиваться. Но стоит человеку или обществу людей искренно обратиться на себя и в себе и в своей

жизни поискать причины того зла, от которого он или оно страдает, и причины эти тотчас же найдутся и сами собой уничтожатся“ (стр. 39).

Сопоставляя эти строки с тем местом из „Отрочества“, на которое указывает Л. И. Аксельрод, мы видим, что толстовская проповедь в самом деле является лишь систематическим изложением одной из тех мыслей, которые очень рано приходили в голову гр. Толстому.

Сам Толстой иногда просто говорит, что в начале 80-х годов с ним случился коренной переворот [122]. Но в других местах он выражается определеннее и гораздо точнее. Он говорит: „Со мной случился переворот, который давно готовился во мне, и задатки которого всегда были во мне“ [1]. Это едва ли не самое правильное выражение того, что случилось с автором „Войны и мира“. Нужно только хорошо вдуматься в это выражение.

В чем собственно заключался „переворот“, по собственному признанию гр. Толстого, давно готовившийся в нем? „Исповедь“ отвечает на это следующим образом: „Со мной случилось то, — говорит он в ней, — что жизнь нашего круга — богатых, ученых — не только опротивела мне, но потеряла всякий смысл. Все наши действия, рассуждения, наука, искусство — все это предстало мне в новом значении. Я понял, что все это — одно баловство, что искать смысла в этом нельзя. Жизнь же всего трудящегося народа, всего человечества, творящего жизнь, представилась мне в ее настоящем значении. Я понял, что это — сама жизнь, и что смысл, придаваемый этой жизни, есть истина, и я принял его“ (стр. 43).

Итак, „переворот“ состоял, во-первых, в том, что жизнь высшего класса не только опротивела Толстому,

[1] „Исповедь“, изд. „Донской речи“, стр. 43.

но потеряла в его глазах всякий смысл; во-вторых, в том, что жизнь трудящегося народа получила для него большую привлекательность, а смысл, придаваемый трудящимся народом этой жизни, был признан им „истиной“. Рассмотрим обе эти стороны „переворота“ и постараемся определить, в какой мере каждая из них была подготовлена прежними взглядами нашего автора.

II

Начнем с высшего класса. В брошюре „Какова моя жизнь?“ Толстой сообщает между прочим те размышления, на которые он был наведен большим балом, происходившим в Москве в марте 1884 г., как раз в тот самый день, когда ему пришлось увидеть несколько потрясающих сцен из жизни московской бедноты. Он пишет:

„Ведь каждая из женщин, которая поехала на этот бал в 150-рублевом платье, не родилась на балу или у m-me Minangoit, а она жила в деревне и видела мужиков, знает свою няню и горничную, у которых отцы и братья бедные, для которых выработать 150 рублей на избу есть цель длинной трудовой жизни; она знает это; как же она могла веселиться, когда она знала, что она на этом балу носила на своем оголенном теле ту избу, которая есть мечта брата ее доброй горничной?“ (стр. 160).

Мы знаем, как могла веселиться каждая из этих нарядных дам. Сам Толстой со своим неподражаемым искусством изобразил нам их психологию. Мы помним, как веселилась Наташа Ростова на балу, происходившем в Петербурге накануне нового 1810 года; мы не забыли и приготовления к нему.

„Наташа ехала на первый большой бал в своей жизни. Она в этот день встала в 8 часов утра и целый день

находилась в лихорадочной тревоге и деятельности. Все силы ее с самого утра были устремлены на то, чтобы они все: она, мама, Соня, были одеты, как нельзя лучше. Соня и графиня поручились вполне ей. На графине должно было быть масака бархатное платье, на них двух — белые дымковые платья на розовых шелковых чехлах с розанами в корсаже. Волоса должны были быть причесаны à la grecque...“ [124]

Наташа тоже родилась не на балу и не в магазине мод, она тоже жила в деревне, — в своем родовом Отрадном, — и видела мужиков; она тоже знала свою няню и своих горничных, отцы и братья которых конечно не могли быть богаты, но тем не менее ей и в голову не приходило спросить себя, сколько стоило то масака бархатное платье, которое должно было быть на ее матери, и те белые дымковые платья на розовых чехлах, в которые должны были одеться она с Соней. А главное — этот вопрос не возникал как видно и у самого Толстого. В превосходном, поистине увлекательном описании сборов Наташи на бал, на него нет и намека.

Толстой продолжает: „Но положим она (т. е. каждая из женщин, которая поехала на бал в 150-рублевом платье.—*Г. П.)* могла не сделать этого соображения; но того, что бархат и шелк, цветы и кружева и платья не растут сами собой, а их делают люди, ведь этого казалось бы она не могла не знать. Казалось бы не могла не знать того, какие люди делают все это, при каких условиях и зачем они делают это. Ведь она не может не знать того, что швея, с которой она еще бранилась, совсем не из любви к ней делала это платье“ [1].

[1] „Какова моя жизнь?“, стр. 160.

Это правильно. Но, ведь, и Наташа не могла не знать, что не растут сами собою ни белые дымковые платья на розовых шелковых чехлах, ни бархат „масака". Не могла она не знать и того, что швеи, шившие платья ей, Соне и старой графине, делали это не из любви к ней, а повинуясь какому-то иному чувству. Однако она совсем не останавливалась мыслью на этом. А главное — не останавливал на этом своего внимания и Толстой, так увлекательно и с таким неподражаемым сочувствием описавший ее сборы на бал.

Дальше. В брошюре „Какова моя жизнь?" гр. Толстой следующим образом продолжает свое обличение нарядных дам:

„Но может быть они так отуманены, что и этого не соображают. Но уж того, что пять или шесть человек старых, почтенных, часто хворых лакеев, горничных не спали и хлопотали из-за нее, этого уж она не могла не знать. Она видела их усталые, мрачные лица" (стр. 161).

Положим. Однако вспомним, как было с Наташей. „Дело стояло за наташиной юбкой, которая была слишком длинна; ее подшивали две девушки, обкусывая торопливо нитки; третья с булавками в губах и зубах бегала от графини к Соне; четвертая держала на высоко поднятых руках все дымковое платье".

Автор „Войны и мира" повествует об этом с эпическим спокойствием. Видно, что его ни мало не смущает здесь вопрос, насколько справедливы такие общественные отношения, при которых одна часть общества осуждена на постоянный труд для того, чтобы доставить другой, несомненно меньшей его части, возможность наслаждаться жизнью: одеваться в шелк и бархат, веселиться на балах

и т. д. И это мы видим не только там, где речь идет о приготовлениях Наташи к балу.

Описывая псовую охоту Ростовых в Отрадном, Толстой мимоходом сообщает, что их сосед Илагин отдал за свою краснопегую собаку Ерзу три семьи дворовых. И это мимоходное сообщение о беспредельном помещичьем произволе опять делается с эпическим спокойствием, при отсутствии которого описание охоты, даже при всенесомненном мастерстве гр. Толстого, не могло быть таким увлекательным, каким оно вышло в романе „Война и мир". Значит было время, когда сам Толстой грешил тем грехом, в котором он впоследствии обвинял „каждую из женщин", ехавшую на бал в 150-рублевом платье: он совершенно так же, как и они, относился к факту эксплоатации одного класса общества другим. Он не мог не знать о существовании этого факта; но он смотрел на него, как на нечто неизбежное, само собой разумеющееся, и потому не только не возмущался им, но даже не считал нужным останавливать на нем свое внимание. Его интересовало тогда не то, что испытывали люди, подвергавшиеся эксплоатации со стороны Ростовых, Илагиных и других членов высшего сословия, а то, как жило это высшее сословие и как пользовалось оно тою возможностью наслаждения, которая создалась для него эксплоатацией крепостных „душ". Он был художественным бытописателем высшего сословия. На трудящееся население страны он смотрел тем взглядом, каким, — по его собственному выражению, употребленному по другому поводу, — глядят на стены: совершенно безучастно. Потом пришло такое время, когда он отказался от этого взгляда и стал смотреть на народ как на носителя высшей истины И к этому сводилась, как уже сказано, одна из сторон

переворота, пережитого им в начале 80-х годов. Эта сторона в высшей степени интересна. Ведь именно ее наличностью объясняется то обстоятельство, что Толстого стали называть учителем жизни даже многие из тех наших общественных деятелей, которые никогда не жили, не будут, не хотят и не могут жить так, как учил Толстой. И точно так же в ней надо искать объяснения того, что после „переворота“ наш автор с таким строгим осуждением стал относиться к своему прежнему художественному творчеству: он видел в нем художественное воспроизведение быта народных эксплоататоров и осуждал свою роль идеализатора этого быта. На всем этом очень стоит остановиться.

III

Граф Л. Н. Толстой разумеется никогда не был злым человеком. Как же мог он смотреть на народ тем безучастным взглядом, каким глядят на стены?

Наташа Ростова тоже никогда не была злою. Напротив ее характер отличался добротою и благонравием. Несмотря на это, ее голова оставалась совершенно недоступной для вопроса о том, почему один класс общества живет на счет другого. Толстой, который в последний период своей литературной деятельности обличал роскошную и праздную жизнь высшего класса, хорошо понимал однако, что равнодушное отношение людей этого класса к участи трудящегося народа еще не предполагает злого сердца. Сказав, что женщины, поехавшие на бал в 150-рублевых платьях, не могли не знать, какое огромное значение имели бы для крестьянина деньги, брошенные ими на свои наряды, и не могли не видеть, что их удовольствие связано с переутомлением прислуги, Толстой сейчас же прибавляет: „Но я знаю, что они точно не видят этого“. И он

даже думает, что „их нельзя осудить“, так как они слепы „из-за гипнотизации, произведенной над ними балом“. Танцующие на балах молодые женщины и девушки делают то, что считается старшими хорошим. Остается значит лишь вопрос: „Старшие-то как объяснят свою жестокость к людям?“ А на этот вопрос брошюра „Какова моя жизнь?“ отвечает ссылкой на характер денежного хозяйства.

„Я помню, видал, — говорит он, — старых, не сантиментальных игроков, которые говорили мне, что игра эта была особенно приятна тем, что не видишь, кого обыгрываешь, как это бывает в других играх; лакей приносит даже не деньги, а марки; каждый проиграл маленькую ставку, и его огорчения не видно. То же и с рулеткой, которая запрещена везде не даром же“.

То же и с деньгами, они не только мешают видеть, кого эксплоатируешь, но скрывают от нас самый факт эксплоатации. Те, старшие, примеру которых следуют молодые женщины и девушки, едущие на бал в роскошных платьях, говорят обыкновенно: „Я никого не принуждаю: вещи я покупаю, людей, горничных, кучеров я нанимаю. Покупать и нанимать — в этом нет ничего дурного. Я не принуждаю никого, я нанимаю; что ж тут дурного!“ [1].

Так в самом деле часто рассуждают люди высшего класса там, где господствует денежное хозяйство. Но так не мог рассуждать например граф Ростов. Он „не нанимал своих крепостных“, а между тем этот несомненно добрый человек с самой спокойной совестью смотрел и на окружавшую его роскошь, и на то, что почти каждое удовольствие его семьи предполагало эксплоатацию чужого труда. Скажу больше.

[1] „Какова моя жизнь?“, стр. 161.

Сам Толстой показывает нам, что бывают такие положения, когда указанная эксплоатация нисколько не возмущает даже тех, которые ей подвергаются. Когда отправлявшиеся на бал Ростовы заехали за фрейлиной Перонской, то у нее, „как у Ростовых, старая горничная восторженно любовалась нарядом своей госпожи, когда она в желтом платье с шифром вышла в гостинную". Это приводит мне на память рассказ одного путешественника о том, что в некоторых местностях Африки рабы смотрят на побег, как на бесчестное дело, лишающее рабовладельца его законной собственности. Выходит стало быть, что дело не только в гипнотизации, производимой балом, и не только в условиях денежного хозяйства. Власть „гипноза" оказывается чрезвычайно широкой: временами она подчиняет себе не только эксплоататоров, но и эксплоатируемых. И вот эта-то чрезвычайно широкая власть „гипноза" и только она одна и объясняет то, сначала как будто непонятное, психологическое явление, что такой несомненно хороший человек, каким всегда был Л. Н. Толстой, мог быть в течение долгого времени художественным бытописателем высшего сословия и смотреть на эксплоатируемый народ тем безучастным взглядом, каким смотрят на стену: на нем самом сказалось влияние „гипноза". Человек, выросший при данных общественных условиях, склонен считать эти условия естественными и справедливыми до тех пор, пока его понятие не изменится под влиянием каких-нибудь новых фактов, мало-по-малу порождаемых теми же самыми условиями.

IV

Переворот, пережитый Толстым в начале 80-х гг., заключался преимущественно в том, что наш великий

писатель вышел из того гипнотического состояния, в которое он попал под влиянием окружавшей его общественной среды, и находясь в котором он выступил в нашей литературе как художественный бытописатель высшего сословия. Освободившись от гипноза, он самым резким образом осудил свою художественную деятельность. Это было разумеется очень несправедливо; но психологически это было совершенно понятно, как следствие только что пережитого им переворота. Притом же резкость этого суждения в огромной степени увеличилась некоторыми, весьма достойными замечания, особенностями его взглядов и привычек мысли.

Белинский [125] говорит в одном из писем к своим московским друзьям, что „у художественных натур ум уходит в талант, в творческую фантазию, — и потому в своих творениях, как поэты, они страшно огромно умны; а как люди — ограничены и чуть не глупы (Пушкин, Гоголь)".

Это явно несправедливо по отношению к Пушкину, который был „страшно, огромно умен" не только как художник, но и как человек: то, что Белинский называет здесь его ограниченностью, было на самом деле лишь узостью известных сословных понятий, без критики усвоенных нашим гениальным поэтом, т. е. являлось недостатком не отдельного лица, а целого сословия. Кроме того Белинский выразился бы правильнее, если бы вместо „как люди" сказал: „как мыслители". С этой поправкой его замечание можно было бы с полным правом применить например к Гоголю. Только г. Волынский [126] (см. его книгу „Русские критики") мог не заметить, что в книге „Выбранные места из переписки с друзьями" Гоголь показал себя крайне ограниченным мыслителем. И то же самое приходится к сожалению сказать об авторе

„Войны и мира“: его огромный ум до такой степени „ушел в талант, в творческую фантазию“, что в роли мыслителя граф Толстой везде обнаруживает почти ребяческую беспомощность. По приемам своего мышления он был типичным метафизиком. „Да — да, нет — нет; что сверх того, то от лукавого“ — вот формула, по которой совершаются все операции его мысли. Поэтому он не мог допустить относительной (исторической) правомерности таких общественных отношений, которые заслуживают осуждения с точки зрения нынешних нравственных понятий. Маркс говорит в предисловии к 1-му изданию I тома своего „Капитала“, что он менее нежели кто-нибудь другой склонен делать отдельного человека ответственным за отношения, продуктом которых он остается даже тогда, когда восстает против них.

Это весьма гуманный взгляд — самый гуманный изо всех возможных. Но до такого гуманного взгляда способен возвыситься только материалист, понимающий, что человек есть продукт окружающих его условий. Толстой никогда не понимал этого. Материалистический взгляд на человека, как на продукт окружающей его среды, — взгляд, к изложению и защите которого так часто и с такой любовью возвращался в нашей литературе Н. Чернышевский,—представлялся ему в совершенно нелепом виде. Обращаясь к одному из своих корреспондентов, Толстой пишет:

„Вы говорите, — и это говорят многие, — что нельзя надеяться на свои усилия, нельзя надеяться на себя. Простите меня, но это только слова, не имеющие никакого значения ни для меня, ни для вас. То, что человек не должен надеяться на себя, может сказать материалист, представляющий себе человека сцеплением механических сил, подлежащих законам, управляющим материею; но для

меня и для вас, как и для всякого религиозного человека, есть живая сила, искра божеская, вложенная в тело и живущая в нем“ („Спелые колосья“, стр. 22).

Это так наивно, что вызвало бы одобрение даже со стороны г. Мережковского. И само собою разумеется, „религиозный“ писатель, держащийся мнимо-возвышенного убеждения на счет независимости человека от законов, управляющих материей, никогда не будет в состоянии взглянуть на свою собственную деятельность как на закономерный продукт данного хода общественного развития. Если он заметит в известном периоде этой деятельности какое-нибудь отклонение от того идеала, которому он предан в настоящее время, то он не может увидеть в таком отклонении ничего, кроме греха, угасания „искры божеской, вложенной в тело“ и т. п. Так и произошло с гр. Л. Н. Толстым. Тот период его литературной деятельности, в течение которого он был художественным бытописателем высшего сословия, стал представляться ему периодом совершенно неизвинительной слабости. И такими же глазами стал он смотреть на деятельность решительно всех великих художников, в произведениях которых выражались стремления и вкусы высших классов. Первый упрек, делаемый им Шекспиру, заключается в том, что тот не был демократом. Такие же упреки он рассыпает по многим и многим адресам, почти на каждой странице своей книги об искусстве.

V

Такой взгляд на искусство как будто сближает гр. Л. Н. Толстого с нашими просветителями 60-х гг. И в самом деле только что указанная книга сплошь и рядом предъявляет искусству такие же требования,

какие предъявила ему в свое время знаменитая диссертация Н. Г. Чернышевского „Эстетические отношения искусства к действительности“. Но не надо обманываться этим сближением.

Конечно Толстой вполне согласился бы с Чернышевским, которого он почему-то нигде не называет, в том, что искусство должно объяснять людям смысл жизни. Но его понимание смысла жизни было прямо противоположно тому, к которому пришли просветители. Те были материалистами, считавшими большим и вредным заблуждением христианское пренебрежение к плоти. Толстой был идеалистом, поставившим это пренебрежение в передний угол своего учения о нравственности. Он был также далек от просветителей 60-х гг., как и от нынешних марксистов (конечно, я имею в виду лишь тех, которые понимают смысл своего собственного учения).

Впоследствии, возмущаясь своей прежней писательской деятельностью, Толстой говорил:

„Несмотря на то, что я считал писательство пустяками в продолжении этих пятнадцати лет, я все-таки продолжал писать. Я вкусил уже соблазна писательства, соблазна огромного денежного вознаграждения и рукоплесканий за ничтожный труд и предавался ему, как средству к улучшению своего материального положения и заглушению в душе всяких вопросов о смысле жизни моей и общей“. („Исповедь“, стр. 12).

Это страшно несправедливо. Кто же поверит, что только корыстолюбию и тщеславию Толстого мы обязаны такими дивными художественными произведениями, как „Война и мир“ и „Анна Каренина“? [1].

[1] И кто не знает теперь, что вовсе не ничтожен был труд написания этих романов.

В этих строках обнаружилась только что указанная мною полная неспособность Толстого посмотреть на свою прежнюю писательскую деятельность с исторической точки зрения. Толстой гремит против самого себя, как гремит религиозный проповедник против „греховодника“. Однако тут есть и доля истины и к тому же — чрезвычайно интересной истины. Мы узнаем, что литературный труд заглушал в душе Толстого „всякие вопросы о смысле жизни“. Спрашивается, каким же образом этот труд мог заглушить эти вопросы? Ответ ясен. Для того, чтобы работа Толстого над своими художественными произведениями могла заглушать возникавшие у него вопросы о смысле жизни, необходима была наличность одного условия: противоречие того, что он изображал в своих несравненных художественных образах с тем настроением, которым порождались шевелившиеся у него вопросы. Если бы было иначе, если бы такого противоречия не существовало, то художественное творчество Толстого не только не заглушало бы этих вопросов, а напротив выясняло бы их. Противоречие несомненно было. Но откуда оно взялось?

Так как Толстому выпала роль гениального бытописателя высшего сословия, то естественно предположить, что противоречие порождено было более или менее смутным сознанием несправедливости тех привилегий, которыми это сословие пользовалось. Однако это предположение не выдерживает критики. Как уже сказано выше, Толстой того времени смотрел на эксплоатируемых теми равнодушными глазами, какими глядят на стену. Не подлежит сомнению, что из всех действующих лиц романа „Анна Каренина“ автор наиболее симпатизирует Константину Левину. Но Левин вполне равнодушен ко всему, что выходит за пределы его

семейного благополучия. „Я думаю, — говорит он, — что двигатель наших действий есть все-таки личное счастье".

Он не интересуется земством, потому что не видит от него никакой для себя пользы. Он рассуждает так: „Теперь в земских учреждениях я, как дворянин, не вижу ничего, что бы содействовало моему благосостоянию. Дороги не лучше и не могут быть лучше; лошади мои везут меня и по дурным. Доктора и пункта мне не нужно. Мировой судья мне не нужен, — я никогда не обращаюсь к нему и не обращусь. Школы мне не только не нужны, но даже вредны. Для меня земские учреждения просто повинность платить восемнадцать копеек с десятины, ездить в город, ночевать с клопами и слушать всякий вздор и гадости, а личный интерес меня не побуждает". Правда, симпатизируя Левину, Толстой изображает его каким-то отрицателем. Но что же отрицает этот поистине благородный „дворянин"?

Только некоторые приличия, общепринятые в известном дворянском кругу. Это очень немного, а главное это еще не обнаруживает ни малейшего интереса к положению народа. Стало быть не в этом направлении нужно искать те вопросы, которые шевелились тогда в душе Толстого и которые шли вразрез с его тогдашней литературной деятельностью. Где же искать их? Обратимся опять к „Исповеди".

VI

„Прежде, — говорит он в ней, — сама жизнь казалась мне исполненной смысла, и вера представлялась произвольным утверждением каких-то совершенно ненужных мне, неразумных и не связанных с жизнью положений. Я спросил себя тогда, какой смысл имеют эти положения и, убедившись, что они не имеют его, откинул их" (стр. 51)

Тут прежде всего нужно отделить неверное от верного. Толстой сильно преувеличивает, говоря, что было время, когда он был совершенно чужд религии („Когда я 18 лет вышел со второго курса университета, я не верил уже ни во что из того, чему меня учили"). На самом деле весь характер его литературной деятельности последнего периода показывает, что христианское учение оставило в его душе гораздо более глубокий след, нежели он думал. Как справедливо заметила Л. И. Аксельрод, это хорошо видно из следующего места в очерке „Детство". Речь идет там о впечатлении, произведенном на главного героя очерка юродивым Гришей:

„Много воды утекло с тех пор, много воспоминаний о былом потеряли для меня значение и стали смутными мечтами, даже и странник Гриша давно окончил свое последнее странствование, но впечатление, которое он произвел на меня, и чувство, которое возбудил, никогда не умрут в моей памяти. — О, великий христианин Гриша! Твоя вера была так сильна, что ты чувствовал близость Бога; твоя любовь так велика, что слова сами собою лились из уст твоих, — ты их не поверял рассудком... (стр. 43).

Эти строки были написаны в такое время, когда Толстой был, по его словам, совершенно неверующим.

Я знаю, что они написаны не от лица автора; но, совершенно оставляя вопрос о том, в какой мере „Детство, Отрочество и Юность" имеют автобиографическое значение, я утверждаю, что строки эти не мог написать человек, в самом деле разделавшийся с христианской религией. Христианство сообщило Толстому свой аскетический взгляд на человеческую жизнь, и с этим взглядом он не расставался даже тогда, когда склонился к весьма

поверхностному впрочем неверию. А между тем он страшно любил жизнь во всех ее здоровых проявлениях [1]. Его огромная любовь к жизни сказалась как в постоянно мучившем его страхе смерти, так и в той непреодолимой, захватывающей увлекательности, с которой он описывает события вроде сборов Наташи Ростовой на бал, катания ряженых на святках или, — чтобы взять пример из другого произведения, — жизнерадостное настроение молодого жеребенка („Холстомер"). Но любовь к жизни противоречит христиански-аскетическому ее отрицанию. Вот это-то противоречие давало себя чувствовать Толстому, когда он писал свои бессмертные романы. Христианин, в глазах которого земная жизнь человека является лишь более или менее удобным этапом на пути в царство небесное, боролся в нем с язычником, которому жизнь эта „казалась исполненной смысла". До поры до времени язычник брал верх над христианином: Толстой с увлечением предавался художественной деятельности. Но христианин никогда не умирал в нем: религиозные искания великого художника наложили свою яркую печать на стремления Пьера Безухова в „Войне и мире", а христианское пренебрежение к грешным „мирским" интересам человечества выразилось в эгоистическом чудачестве Константина Левина в „Анне Карениной". Потом пришло такое время, когда христианин окончательно восторжествовал над язычником. Какое настроение овладело тогда Толстым, видно из следующих строк его „Исповеди": „Теперь... я твердо знал, что жизнь моя не имеет и не может иметь никакого смысла, и положения веры не

[1] В этом он противоположен Достоевскому, которого интересовали болезненные процессы жизни.

только не представлялись мне ненужными, но я несомненным опытом был приведен к убеждению, что только эти положения веры дают смысл жизни" (стр. 151). Если жизнь сама по себе не имеет никакого смысла, если „только положения веры дают смысл жизни", то ясно, что лишено всякого смысла и то увлечение Наташи сборами на бал, которое так сочувственно изображено в „Войне и мире", или та беспредельная радость жизни, которая охватила ту же Наташу на охоте и которая заставила ее дико визжать от полноты возбуждения. Ну, а если не имеет никакого смысла многообразная радость жизни, взятая сама по себе, то не имеет смысла также и ее художественное изображение. Таким образом торжество христианина над язычником в душе гр. Толстого должно было поставить его в резко-отрицательное отношение к его прежней художественной деятельности.

VII

Теперь мы видим, что отрицательное отношение гр. Толстого к той жизни высшего сословия, которую он прежде так увлекательно изображал в своих художественных произведениях, действительно имело свой задаток в прежних взглядах Толстого. Оно коренилось в христианском отрицании всякой жизни вообще, поскольку она не служит подготовкой к загробному существованию. Когда Толстой в брошюре „Какова моя жизнь?" громил дам, ехавших на бал в дорогих нарядах, он аргументировал почти как социалист. Его главным поводом был довод об эксплоатации человека человеком, и несомненно настойчивое обращение Толстого к этому доводу доказывает сильное влияние на него социализма, но это сильное влияние осталось поверхностным. Оно могло по временам

видоизменять аргументацию Толстого, но не могло ни на волос изменить его миросозерцания. Почему достойна осуждения эксплоатация человека человеком?.. Чтобы понять это, надо вспомнить, как защищает Толстой в брошюре „К рабочему народу“ свое учение о непротивлении злу насилием. Он советует рабочим не участвовать в насильственных действиях „не потому, что это для рабочих невыгодно и производит их порабощение, а потому, что участие это есть дурное дело, от которого должен воздерживаться всякий человек“ (стр. 22). Но если данные поступки людей дурны не потому, что они вредят интересам их ближних, — чтобы остаться в пределах примера, взятого самим Толстым, скажу: не потому, что они ведут к порабощению одного класса другим, — а только потому, что они дурны сами по себе, то где же надо искать критерия добра и зла? На этот вопрос Толстой дает ответ, вполне гармонирующий со всем его миросозерцанием, основанным на противопоставлении „духа“ „телу“, „вечного“ „временному“ и „мирскому“. Критерий добра и зла обязан своим происхождением не земле, а небу, не людям, а высшему существу.

„Жизнь мира совершается по чьей-то воле, — учит Толстой, — кто-то этой жизнью всего мира и нашими жизнями делает свое какое-то дело. Чтобы иметь надежду понять смысл этой воли, надо прежде всего исполнить ее, делать то, чего от нас хотят. А если я не буду делать то, чего хотят от меня, то и не пойму никогда того, чего хотят от меня, а, уж тем менее, — чего хотят от всех нас и от всего мира“ („Исповедь“, стр. 45).

Зародыш такого отношения к вопросам нравственности тоже коренился конечно в прежних настроениях Толстого, например в том, которым продиктован был

вышеприведенный отзыв о юродивом Грише. Понятно, что когда христианин победил в Толстом язычника, то великий писатель земли русской уже не мог сомневаться в правильности такого отношения.

Он окончательно решил, что критерий добра и зла надо искать не на земле, а на небе. С другой стороны, понятно и то, что, раз придя к этому окончательному решению, Толстой должен был взглянуть на жизнь трудящегося народа как на жизнь, исполненную глубочайшего смысла.

Не надо обманывать себя. Главная привлекательность народной жизни состояла для Толстого не в том, что народ живет трудами рук своих, а в том, что этот труд освещается религиозной верой. Толстой говорит: „И я стал вглядываться в жизнь и верования этих людей, и чем больше я вглядывался, тем больше убеждался, что у них есть настоящая вера, что вера их необходима для них и одна дает им смысл и возможность жизни. В противоположность того, что я видел в нашем кругу, где возможна жизнь без веры и где из 1 000 едва ли один признает себя верующим, в их среде едва ли один неверующий на тысячи. В противоположность того, что я видел в нашем кругу, где вся жизнь проходит в праздности, потехах и недовольстве жизнью, я видел, что вся жизнь этих людей проходила в тяжелом труде, и они были довольны жизнью. В противоположность тому, что люди нашего круга противились и негодовали на судьбу за лишения и страдания, эти люди принимали болезни и горести без всякого недоразумения, противления, а с покойною и твердою уверенностью в том, что все это должно быть и не может быть иначе, что все это — добро“ („Исповедь“, стр. 42).

Это понятно; гр. Толстой иначе и не мог смотреть на народ. Кто противопоставляет „дух“ „телу“, „вечное“ „временному“, для того самые жгучие вопросы общественной жизни имеют интерес лишь постольку, поскольку они касаются его религиозного верования. Нам, совершенно отрицающим правомерность названного противопоставления, ясно, что в рассуждения Толстого забралось здесь одно неосновательное обобщение. Наш великий художник очень ошибался, думая, что трудящаяся масса всегда и везде относится к своим страданиям и лишениям со спокойной и твердой уверенностью в том, что все это должно быть и не может быть иначе, что все это — „добро“. Так она относится к ним лишь при известных общественных условиях, вызывающих весьма значительную отсталость ее самосознания. Но самосознание изменяется с изменением общественных условий. Мало-по-малу масса расстается с тем квиетизмом, который привлек к ней горячие симпатии Толстого. Промышленный рабочий класс реагирует на свои лишения и страдания совсем не так, как реагировал на них крестьянин доброго старого времени. Но когда Толстой говорил — „народ“, он разумел именно крестьянина доброго старого времени, представлявшегося ему в виде все выносящего и все прощающего Платона Каратаева (в „Войне и мире“). Современный пролетарий совсем не похож на Платона Каратаева. Поэтому Толстой смотрел на современного пролетария как на печальную ошибку в ходе общественного развития. Если бы он способен был серьезно заинтересоваться общественной жизнью и деятельно вмешаться в нее, то он непременно начал бы с того, что попытался бы повернуть назад колесо истории. Его „мирское“ сочувствие, — а такое сочувствие всегда есть даже у человека, взор которого

повидимому совершенно прикован к вечному, — направлено было в прошлое, а не в будущее. Он отрицал не все прошлое, а только одну из его сторон, и это отрицание одной из сторон прошлого дополнялось у него идеализацией другой стороны. „Переворот“, который случился с ним в начале 80-х гг., и зародыши которого давно уже зрели в его душе, не облегчил ему понимания будущего, а напротив сделал такое понимание совсем для него недоступным. Вот почему нельзя не подивиться наивности г. П. Ш., который в № 8 „Киевской мысли“ за нынешний год (см. статью „Памяти Одинокого“), уверяет, что „слово“ Толстого обращено к далеким поколениям и непременно „дойдет“ до них. Оно пожалуй и в самом деле „дойдет“, но только тогда, когда наша планета начнет, согласно весьма вероятным предсказаниям некоторых естествоиспытателей, клониться к упадку и человечество в своем отступлении назад опять приблизится к тому положению, в котором находилась некогда крепостная Россия. А при этом условии предсказания сантиментального г. П. Ш. оказываются довольно сомнительным комплиментом.